

согласию. Писатели «Н. Слова» последнее время почему-то расположены находить большое сходство между своими шутками и шутками «Свистка» или «свистуновъ». Признаться, мнѣ шутки «Н. Слова» гораздо болѣе напоминают остроты стараго «Русскаго Вѣстника» надъ авторомъ «Полемическихъ красотъ». Но это вопросъ особый, а пока любопытно было бы узнать, когда именно «Современникъ» и «Свистокъ» такъ уопѣнно попадали въ унисонъ съ «Р. Вѣстникомъ» начала 60-хъ годовъ, какъ это удалось «Н. Слову» по отношенію къ «Р. Вѣстнику» нашихъ дней? Если компанія, въ какой очутился почтенный журналъ, и не совсѣмъ пріятна, то нельзя сказать, чтобы она была совсѣмъ незаслужена. Читатель пойметъ, быть можетъ, что, говоря объ этомъ трогательномъ единеніи, я ограничиваюсь указаніемъ факта, такъ какъ не имѣю достаточно силы назвать его настоящимъ его именемъ, хотя и имѣлъ бы, можетъ статья, достаточно воли для этого.

В. Мякотинъ.

Литература и жизнь.

О народничествѣ, діалектическомъ матеріализмѣ, субъективизмѣ и проч.—
О страшной силѣ г. Novus'a, о моей робости, и о нѣкоторыхъ недоразумѣніяхъ.—Н. Н. Златовратскій.

Для многихъ было бы, вѣроятно, очень удобно, еслибы существовало только два цвѣта—черный и бѣлый, или только двѣ страны свѣта, напимѣръ, сѣверъ и югъ, или только взаимно перпендикулярныя линіи и т. п. Въ этой фантастической скудости красокъ, линій, очертаній жить было бы гораздо оутѣнѣе, чѣмъ въ нашей теперешней пестротѣ и сложности, но за то гораздо легче было бы ориентироваться. Наши предки называли всѣхъ европейцевъ нѣмцами, и еслибы это представленіе объ иностранцахъ, какъ о людяхъ одинаковаго происхожденія, языка, вѣропопѣданія, соответствовало истинѣ, то, конечно, этнографія была бы чрезвычайно легкой наукой, равно какъ и языковѣдѣніе, исторія и проч. Но затѣмъ открылось, что среди «нѣмцевъ» есть и настоящіе нѣмцы-колбасники, и легкомысленные французы, и итальянцы-шарманщики, и гордые испанцы, и рыжіе и коварные англичане. Еще шагъ, и мы узнали, что не всѣ нѣмцы колбасники, не всѣ англичане коварны и рыжи, не всѣ французы легкомысленны. Еще дальше открылось, что не только между французами существуютъ люди весьма серьезные и глубокомысленные, а между англичанами—прямодушные, но что тѣ и другіе, равно какъ и нѣм-

цы, итальянцы, испанцы, дѣлятся на группы, резко отличающіяся своими интересами, образомъ жизни и т. д. Каждый шагъ въ направленіи этого раздробленія представленія о «нѣмцахъ» требовалъ извѣстнаго напряженія ума и о разнѣрахъ этого напряженія намъ, уже твердо знающимъ, что нѣмцы вовсе не колбасники по преимуществу, трудно судить. А если есть люди, находящіе особое наслажденіе въ напряженной работѣ мысли, то гораздо больше такихъ, которые этого напряженія, сознательно или безсознательно, избегаютъ. Отсюда стремленіе къ упрощенію дѣйствительности, къ сведенію ея въ краски, звуки, образы и картины къ малому числу, но резко различныхъ элементовъ. Замѣтить, можетъ быть, что и процессъ, обратный тому, который мы сейчасъ видѣли, процессъ обобщенія, путемъ уловленія сходныхъ чертъ въ различныхъ предметахъ, также требуетъ значительнаго напряженія мысли. Это безспорно, какъ безспорно и то, что обобщеніе не значитъ упрощеніе дѣйствительности. Обобщеніе имѣетъ цѣлю найти нѣкоторое единство въ различныхъ предметахъ, не покушаясь на ихъ особенности, и отрываетъ мысли болѣе широкіе горизонты, тогда какъ упрощеніе дѣйствительности эти горизонты суживаетъ. Въ этомъ узкомъ пространствѣ люди чувствуютъ себя лучше, увѣреннѣе, сложнѣйшія задачи представляются имъ чрезвычайно легкими, и любой Давъ можетъ стать Эдапомъ. Поэтому ихъ инстинктивно, помимо ихъ сознанія, тянетъ къ упрощенію дѣйствительности. Тотъ же результатъ получается и при простомъ незнакомствѣ съ рядомъ явленій, объ которыхъ идетъ рѣчь, какъ оно и было съ нашими предками, когда они всѣхъ иностранцевъ считали нѣмцами. Наконецъ, къ тому же часто приводитъ игра страстей, управляющихъ ходомъ мысли «упростателей» помимо ихъ сознанія.

Возьмемъ какую нибудь историческую личность. Возьмемъ Некрасова. Этотъ замѣчательный человекъ представляетъ собою чрезвычайно сложный переплетъ свѣта и тѣней: превосходный поэтъ, грішнѣйшій, однако, иногда очень грубыми стихотвореніями; цвѣтъ народа и всѣхъ обездоленныхъ, нажившій, однако, по предсказанію Бѣлинскаго, «капиталецъ»; яркій представитель и отчасти даже вождь извѣстнаго направленія, извлекавшій, однако, изъ своей лиры, по его собственнымъ словамъ, «невѣрные» звуки, и т. д. Эта сложность ставитъ въ трудное положеніе умы несвѣдущіе, то есть недостаточно знакомые съ жизнью и дѣятельностью Некрасова, умы лѣнныя и неповоротливыя, обѣгающіе всякую сложность, наконецъ, умы, обезоруженные страстью,—будь то любовь или ненависть. Въ извѣстной статьѣ Лѣскова «Загадочный человекъ» рассказывается о томъ, какъ разочаровался Артуръ Бенни въ нашъ просвѣтительный движеніи вообще и въ нѣкоторыхъ особенно уважаемыхъ имъ людяхъ въ частности. Тутъ приводятся совершенно бессмысленныя сплетни о покойникахъ, Чернышевскомъ и Елисеевѣ, и затѣмъ Лѣсковъ продолжаетъ: «Но что уже совсѣмъ

срѣзало Бенни, такъ это нѣкоторые стихотворенія столь извѣстнаго поэта. Николай Алексѣевича Некрасова. Я говорю о тщательно издѣй Некрасовымъ изъ продаж книжечкѣ, носящей заглавие «Мечты и звуки». Я уберечь у себя эту рѣдкость нѣмнѣшняго времени, и Бенни переварить не могъ этой книги» (Лѣсковъ, Сочиненія, VIII, 104) — Книжка «Мечты и звуки» была издава въ 1840 г. (значитъ, написана и того раньше), когда Некрасову было 19 лѣтъ, и состояла изъ дѣтскихъ стихотвореній, написанныхъ по содержанию и ребячески слабымъ по формѣ. Бѣльскій рѣзко отзывался о нихъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», причемъ сдѣлать едва ли не единственный въ жизни крупный эстетическій промахъ: отказавъ юному автору, какъ поэту, во всякой будущности. Старикъ Жуковский, къ которому обуреваемый сомнѣнiami Некрасовъ обратился за совѣтомъ, сказавъ въ этомъ случаѣ проникательнѣе великаго критика. Онъ предсказалъ юношѣ-поэту, что тотъ впоследствии пожалѣетъ, если выпуститъ эту книжку, и посоветовалъ, по крайней мѣрѣ, не выставлять имени. Книжка и была издана подъ инициалами Н. Н., а потомъ Некрасовъ, естественно недовольный этимъ дѣтскимъ лепетомъ, скупалъ и уничтожалъ книжку. Вотъ и вся исторія, которую Лѣсковъ рассказываетъ съ такими злорадными подчеркиваніями. Почему такая пустяковина, какъ «Мечты и звуки», могла «уже совсѣмъ срѣзать» Бенни — трудно понять. Но дѣло въ томъ, что къ показаніямъ Лѣскова вообще слѣдуетъ относиться съ большою осторожностью, и можно сказать навѣрное, что разочарованія въ Некрасовѣ (по крайней мѣрѣ, по поводу книжки «Мечты и Звуки») Бенни никогда не переживалъ. Это — плоть злобной фантазіи Лѣскова, который, однако, хорошо знаетъ, что онъ дѣлаетъ, пуская свой шипъ по змѣиную. Онъ рассчитывалъ на наше позорное незнакомство съ нашимъ прошлымъ даже относительно популярнѣйшихъ писателей и потому смѣло представилъ обыкновеннѣйшую и невиннѣйшую исторію книжечки «Мечты и звуки», какъ какое-то злое или лицемерное дѣло, долженствующее провести лишнюю непріятную черту на портретѣ Некрасова. Но на оригиналѣ этого портрета и безъ того есть подлинныя, не выдуманныя непріятныя черты, радующія враговъ, приводящія въ смущеніе друзей. Онъ самъ это понималъ и ясно выразилъ словами: «Ликуетъ врагъ, молчитъ въ недоумѣніи вчерашній другъ, качая головой». И вотъ, и врагъ, и другъ, отчасти по недостаточной гибкости ума, а отчасти ослѣпленные враждой или любовью, нарываютъ «упростить» этотъ сложный образъ, выкрасить этотъ портретъ одной какой нибудь краской: такъ легче, удобнѣе. Но это не будетъ портретъ Некрасова.

Какъ ни оригинальна фигура Некрасова, но это всетаки единичная личность, и если въ ней многимъ разобратъ такъ трудно, что они предпочитаютъ эти трудности обходить, то глѣзъ паче слѣдуетъ этого ожидать по отношенію къ вопросамъ общественной

лианъ. Здѣсь и поводовъ, и соблазновъ для упрощенія, конечно, гораздо больше. Позволю себѣ напомнить читателю одну маленькую рецензію, напечатанную въ нашемъ журналѣ въ прошломъ году (№ 6). Дѣло идетъ о переводной брошюрѣ Гельда «Фабрика и ремесло». Переводчикъ, г. Спасскій, предпринялъ эту работу въ видахъ борьбы съ «тѣмъ утопическимъ романтизмомъ, съ которымъ въ извѣстной части нашей русской экономической литературы обсуждается вопросъ о кустарной или домашней промышленности». Брошюра (собственно рѣчь) слѣдуетъ за постепеннымъ сокращеніемъ сферы дѣйствія мелкаго производства и вытѣсненіемъ, въ Англіи и Германіи, ремесла фабрикой. Г. Спасскій очень почтительно относится къ рѣчи Гельда, «проникнутой стремленіемъ къ трезвому, лишенному утопізма анализу историческаго мѣста каждой формы». Это не мѣшаетъ ему, однако, «упрощать» мнѣнія нѣмецкаго ученаго. Такъ, Гельдъ называетъ ремесло «достойнымъ вниманія придаткомъ (ein achtungswerthes Anhängsel) крупной промышленности», а г. Спасскій переводитъ это мѣсто словами: «не заслуживающій особаго вниманія придатокъ», да еще печатаетъ эти слова курсивомъ, котораго въ подлинникѣ нѣтъ. Затѣмъ переводчикъ и совсѣмъ пропускаетъ одно мѣсто, гдѣ Гельдъ оговаривается, что совершеннаго вытѣсненія ремесла во всѣхъ отрасляхъ производства нѣкимъ образомъ ожидать нельзя. Не смотря на скромность этой оговорки, она показала переводчику всетаки слишкомъ осложняющую дѣло. По этой же причинѣ и «достойное вниманія» для Гельда превращается для переводчика въ «незаслуживающее вниманія». Г. Спасскій считаетъ себя, по всей вѣроятности, «діалектическимъ матеріалистомъ» (я придерживаюсь послѣдняго mot d'ordre) и ведетъ борьбу съ «народничествомъ». Пониманіе и рѣшеніе вопросовъ общественной жизни значительно, конечно, облегчилось бы, еслибы къ намъ можно было относиться только съ «діалектически-матеріалистической» или «народнической» точки зрѣнія, и къ этой то легкости тяготѣетъ г. Спасскій, безцеремонно устраняя даже незначительныя препятствія. Поведеніе его въ этомъ случаѣ можетъ показаться совершенно исключительнымъ, и я хотѣлъ бы надѣяться, что оно действительно таково. Но собственно стремленіе свести различныя направленія къ двумъ упомянутымъ рубрикамъ у насъ въ настоящее время чрезвычайно распространено: либо правовѣрные, либо гяуры.

Въ книгѣ «Критическія замѣтки къ вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи» г. Струве, перечисливъ нѣсколько писателей, продолжаетъ (29): «Всѣмъ этимъ писателямъ присуща, правда, въ разной степени, вѣра въ возможность «самобытнаго развитія» Россіи. Эта вѣра объединяетъ писателей самаго различнаго склада, отъ г. Михайловскаго до г. Юзера, въ одно направленіе, которому мы присвоиваемъ названіе народничества». А въ подстрочномъ примѣчаніи на стр. 2 г. Струве пишетъ: «Мы хорошо

знаемъ, что... г. Михайловскій не признаетъ себя народникомъ и *вполнѣ справедливо* отдѣляетъ себя отъ г. В. В. и другихъ народниковъ *par excellence*. Тѣмъ и не менѣе, въ нашемъ смыслѣ онъ—народникъ» (оба курса принадлежатъ г. Струве).

Здѣсь мы имѣемъ, по крайней мѣрѣ, оговорку о «нашемъ смыслѣ» и объ условномъ пониманіи «народничества», въ которое авторъ включаетъ писателей «самаго различнаго склада», между которыми и такихъ, которые «вполнѣ справедливо» не считаютъ себя народниками. Это хорошо, конечно, что авторъ употребляетъ ходячій терминъ съ оговоркою на счетъ того смысла, который онъ въ него вкладываетъ, но было бы еще лучше, еслибы онъ не включалъ въ одну группу людей «самаго различнаго склада». Тѣмъ болѣе, что и тотъ единственный признакъ, на основаніи котораго г. Струве построилъ свое обобщеніе,—возможность «самобытнаго развитія» Россіи,—присущъ указаннымъ имъ писателямъ, по его собственнымъ словамъ, «въ разной степени». А если прибавить, что нѣкоторые изъ нихъ, въ виду двусмысленности поставленныхъ г. Струве въ кавычки словъ «самобытное развитіе», никогда ихъ не употребляютъ,—то окажется, что г. Струве своими оговорками, по малой мѣрѣ, не способствовалъ выясненію понятія «народничества».

Если я «въ смыслѣ г. Струве»—народникъ, то одинъ изъ столповъ народничества, покойный Юзовъ, утверждалъ, что я—«одинъ изъ вреднѣйшихъ марксистовъ» («Основы народничества», 2-е изд. 1884 г., стр. 361). И это перекидываніе меня изъ одного враждующаго лагеря въ другой, тогда какъ я заведомо не имѣю чести принадлежать ни къ тому, ни къ другому, кажется мнѣ очень интереснымъ, какъ частный случай вышеупомянутаго тагетива къ упрощенію дѣйствительности. Конечно, гораздо легче налѣпить на то или другое литературное явленіе одинъ изъ двухъ ходячихъ ярлыковъ, чѣмъ разбираться въ этомъ явленіи, если сколько нибудь сложно. Но очевидны и неудобства подобныхъ приговоровъ, тѣмъ болѣе, что и самые ярлыки, наклеиваемые съ такою увѣренностью въ ихъ точности и опредѣленности, на самомъ дѣлѣ вовсе не такъ точны и опредѣленны.

Въ двухъ первыхъ изданіяхъ книги г. Скабичевскаго «Исторія новѣйшей русской литературы» характеристика г. Евгенія Маркова заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, слѣдующія строки: «Въ противоположность Боборыкину, рыцарю западнику, мѣряющему русскую жизнь по масштабу парижской культуры, Евгеній Марковъ смотритъ на нее съ *народнической* точки зрѣнія: онъ до извѣстной степени почвенникъ, проводящій ту мысль, что городская жизнь портитъ людей, нравственно калѣбитъ ихъ и растлѣваетъ, и лишь возвращеніе въ деревню или въ родную усадьбу, въ среду народа и на лоно природы, можетъ спасти человѣка, возстановить равновѣсіе его силъ и дать имъ благотворный исходъ». Въ тре-

тѣмъ изданіи книги подчеркнутое мною слово «народническая точка зрѣнія» замѣнено словомъ «русофильская точка зрѣнія». Сдѣлать ли эту поправку г. Скабачевскій поти прогію или подѣ влияніемъ указаній критики, но самый фактъ возможности или необходимости этой замѣны одного термина другимъ представляется мнѣ въ данномъ случаѣ чрезвычайно знаменательнымъ. Слово «народничество» у насъ въ такомъ ходу, что, казалось бы, должно покрывать собою вполне определенное содержаніе. И однако, вотъ историкъ новѣйшей русской литературы, въ продолженіе многихъ лѣтъ пристально слѣдящій за нашими умовенными теченіями, поскольку они отражались въ литературѣ, счелъ нужнымъ, разъ употребивъ это слово, замѣнить его другимъ. О г. Марковѣ намъ много распространяться незначѣтъ. Это писатель, у котораго чего хочешь, того простишь. Собственно объ его отношеніи къ «народничеству» стоитъ отмѣтить развѣ только то, что, если не ошибаюсь, онъ избобрѣлъ и, во всякомъ случаѣ, охотно употребляетъ (я не знаю, что онъ теперь дѣлаетъ) презрительную кличку «мужиковствующіе». Не будемъ также останавливаться и на томъ, что «русофильство» (если только г. Скабачевскій не производитъ его отъ имени Руссо!) вовсе не требуетъ проклятій городской жизни и возвращенія «въ среду народа и на лоно природы». По крайней мѣрѣ, намъ извѣстны весьма многіе руссофилы, совершенно чуждые подобныхъ идилическихъ наклонностей. Вообще, Богъ съ нимъ, съ г. Марковымъ и его характеристикой. Намъ интересуетъ здѣсь только фактъ смутности представленій о «народничествѣ», не смотря на то, что объ немъ идутъ въ нашей литературѣ и вѣдъ ея постоянные разговоры.

За послѣднее время гг. «діалектическіе матеріалисты», чувствуя, повидимому, недостаточность ярлыка «народникъ», нѣсколько усложняютъ его и направляютъ свои громы на «народниковъ и субъективистовъ». Къ сожалѣнію, однако, они нигдѣ не разъясняютъ этого новаго ярлыка и едва ли даже не еще болѣе затемняютъ имъ то, съ чѣмъ хотѣтъ бороться. Нѣсколько болѣе, если не по отношенію къ «народничеству», то по отношенію къ «субъективизму» даетъ весьма благосклонный къ «діалектическому матеріализму» г. Филипповъ въ своемъ двухтомномъ сочиненіи «Философія дѣйствительности». Мнѣ еще придется, вѣроятно, вернуться къ этому произведенію, и здѣсь я ограничусь лишь нѣсколькими словами. При этомъ я долженъ опять говорить о себѣ, но не потому, чтобы хотѣлъ непременно занимать читателей своей особой, а потому, что такъ устроилъ г. Филипповъ. Отмѣтивъ, въ числѣ прочихъ социологическихъ школъ, «субъективно-телеологическія теоріи общественности» и назвавъ трехъ представителей ихъ—г. Карѣва, Лестера Уорда и меня, г. Филипповъ останавливается затѣмъ исключительно на мнѣ. Одни изъ моихъ взглядовъ онъ одобряетъ, другіе не одобряетъ, но особенно настаиваетъ на томъ, что и въ своихъ

социологических работах вовсе не применяю «субъективнаго метода». Онъ говоритъ: Михайловскій «сознается, что онъ вывелъ свое опредѣленіе прогресса изъ данныхъ объективной науки». Смыслу міросозерцаній Н. К. Михайловскій выводитъ изъ смѣлыхъ формъ коопераціи, такъ что здѣсь объективный принципъ—раздѣленіе труда—опредѣляетъ психическое настроеніе членовъ общества, а не наоборотъ. Большаго не могли бы потребовать даже экономическіе матеріалисты, противъ которыхъ Н. К. Михайловскій въ недавнее время выступилъ самымъ рѣшительнымъ образомъ («Философія дѣйствительности» II, 1106). Я дѣйствительно «сознаюсь»... Предпочиталъ бы, однако, какоенибудь другое выраженіе, потому что сознаться можно только въ какомънибудь грѣхѣ, преступленіи или ошибкѣ, а съ моей точки зрѣнія опираться на данныя объективной науки не только не составляетъ грѣха, преступленія или ошибки, но, напротивъ того, обязательно. И если г. Филипповъ заставляетъ меня въ этомъ «сознаваться», то это значитъ, мнѣ кажется, что онъ несомнѣнно уяснилъ себѣ мой «субъективизмъ». Конечно, въ этомъ виновать, можетъ быть, я самъ, но и собственные взгляды г. Филиппова на субъективизмъ не ясны. Отринувъ «субъективный методъ», онъ дѣлаетъ слѣдующую оговорку: «Отрицаніе субъективнаго метода не есть, однако, отказъ отъ всякой субъективности. Есть та «глубокая, всеобъемлющая и гуманная субъективность», которая, по словамъ Вѣлинскаго, «не допускаетъ быть чуждымъ міру, но заставляетъ проводить черезъ свою живую душу явленія внѣшняго міра». Нельзя любить и негодовать «по методу» (тамъ же. подстрочное примѣчаніе). Последнее, разумеется, совершенно справедливо, но я и не предлагалъ никогда любить и негодовать «по методу», и было бы, можетъ быть, лучше, еслибы г. Филипповъ не утруждалъ себя изложеніемъ столь несомнѣнныхъ истинъ, а болѣе ясно опредѣлялъ бы ту «субъективность», отъ которой и онъ не отказывается: фразы Вѣлинскаго какъ будто и недостаточно. Г. Филипповъ говоритъ далѣе, что я предлагаю нѣчто такое, больше чего «не могли бы потребовать даже экономическіе матеріалисты», и, повидимому, удивляется, что я противъ послѣднихъ «въ недавнее время выступилъ самымъ рѣшительнымъ образомъ». Быть можетъ, справедливѣе было бы, еслибы г. Филипповъ направилъ свое удивленіе въ другую сторону. Въ самомъ дѣлѣ, если я почти тридцать лѣтъ тому назадъ (г. Филипповъ цитируетъ статью 1869 г.) утверждалъ, что «смѣна формъ коопераціи опредѣляетъ собою психическое настроеніе членовъ общества», то можно удивляться, что люди, ознакомившіеся съ этой истиной вчера, съ такимъ задоромъ учатъ меня въ ея незнаніи. А если г. Филипповъ дастъ себѣ трудъ неиможимо подумать, то онъ убѣдится, что мой субъективизмъ находится въ самой тѣсной связи съ этой истиной. Было бы очень соблазнительно остановиться на этомъ подолжше, но на сей разъ я довольствуюсь указаніемъ на невыясненность многихъ

идей, словесныя выраженія которыхъ находятся во всеобщемъ обращеніи, какъ ходячая монета.

«Диалектическій матеріализмъ» отнюдь не составляетъ въ этомъ отношеніи исключенія. «Мы не можемъ не признать,—говорятъ г. Струве,—что часто философское обоснованіе этого ученія еще не дано, и что оно еще не справилось съ тѣмъ огромнымъ количествомъ матеріала, который представляетъ всемірная исторія. Нуженъ, очевидно, пересмотръ фактовъ съ точки зрѣнія новой теоріи; нужна критика новой теоріи на фактахъ. Быть можетъ, многія односторонности и слишкомъ послѣдныя обобщенія будутъ оставлены» («Критическія замѣтки по вопросу объ экономическомъ развитіи Россіи», 46). И г. Булгаковъ «во избѣжаніе недоразумѣній считаетъ нужнымъ замѣтить, что онъ вовсе не считаетъ матеріалистическое пониманіе исторіи окончательно выработаннымъ и законченнымъ» («Новое Слово», октябрь, 45). Нельзя не приветствовать эти признанія, гарантирующія, повидимому, осторожность выводовъ и призывающія къ пересмотру фактовъ и критикѣ теоріи. Можно бы было поэтому не придавать большого значенія тѣмъ многочисленнымъ противорѣчіямъ, которыми переполнены произведенія различныхъ представителей «диалектическаго матеріализма», хотя бы противорѣчія эти касались наиболѣе коренныхъ вопросовъ. На нихъ можно бы было смотрѣть, какъ на *choses en l'air*, изъ котораго постепенно вырабатывается истина. Вотъ, напримѣръ, г. Струве въ вышеупомянутой книгѣ на разные лады и съ чрезвычайною настойчивостью развивалъ ту мысль, что «экономическій матеріализмъ просто игнорируетъ личность, какъ социологически ничтожную величину», что роль личности въ исторіи равна нулю. Г. же Бельтовъ напротивъ утверждаетъ: «Матеріалисты-диалектики далеки отъ того, чтобы сводить роль личности въ исторіи къ нулю; они ставятъ передъ личностью задачу, которую, употребляя обычный, хотя и неправильный терминъ, надо признать совершенно исключительно идеалистической» («Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію», 234). А затѣмъ г. Струве объясняетъ, что и «нельзя спорить о томъ, играетъ ли личность какую нибудь роль въ историческомъ процессѣ и имѣетъ ли она вообще реальное существованіе», что это вопросъ гносеологическій, и потому «разрѣшить его въ сущности не въ силахъ ни одна изъ существующихъ «философій исторіи», не исключая и такъ называемаго экономическаго матеріализма» («Новое Слово», октябрь, «Новыя книги», 92). Или вотъ, напримѣръ, г. Бельтовъ самымъ рѣшительнымъ образомъ настаиваетъ на «матеріалистическомъ монизмѣ», а г. Струве «вполнѣ подписывается подъ словами г. Милюкова: «для самаго экономическаго матеріализма связывать свою судьбу съ философскимъ матеріализмомъ и неудобно, и бесполезно. Неудобно потому, что философскій матеріализмъ есть одинъ изъ самыхъ плохихъ видовъ монизма; между тѣмъ, экономическій матеріализмъ вполнѣ со-

вмѣстѣ и съ иными монистическими воззрѣніями. Безполезно же потому, что «матеріальный» характеръ экономическаго фактора есть только кажущійся; на самомъ дѣлѣ явленія человеческой экономики происходятъ въ той же психической средѣ, какъ и все другія явленія общественности» (1. с.). Въ предыдущей книжкѣ «Русскаго Богатства» мнѣ пришлось остановиться на подобномъ же фактѣ: г. Туганъ-Барановскій считаетъ «экономическій факторъ» господствующимъ въ обществѣ и опредѣляющимъ собою историческій процессъ, а г. Каменскій объявляетъ этотъ взглядъ совершенно ложнымъ.

Повторяю, всѣ эти и многія другія подобныя противорѣчія не составляли бы большой бѣды, еслибы гг. диалектическіе материалисты паматовали, что дѣло идетъ о доктринахъ, еще недостаточно обоснованной. Но, признавая фактъ этой несобоснованности на словахъ, они на дѣлѣ говорятъ каждый свое отъ имени какъ бы чѣмъ-либо, сложившагося ученія и не вступаютъ въ обменъ мыслей между собою, а или отрицаятъ разъ высказанные взгляды путемъ декретовъ, или же валяютъ съ больной головы на здоровую. Г. Бельтовъ тщился доказать, что материалистическій монизмъ есть единственное философское ученіе, соответствующее современному состоянию науки. Нельзя назвать его старанія очень удачными, но все же онъ старался, а г. Струве, не входя въ разсмотрѣніе этихъ стараній, просто декретируетъ (да еще чужими словами): «философскій материализмъ есть одинъ изъ самыхъ плохихъ видовъ монизма». Г. Туганъ-Барановскій старался доказать преобладающее значеніе «экономическаго фактора». Опять таки это не были перлы знанія и логики, но г. Каменскій, какъ мы видѣли, въ сущности, доказывая вздорность и «отсталость» взглядовъ г. Тугана-Барановскаго, валяетъ отвѣтственность за нихъ на «пародниковъ и субъективистовъ», да еще съ удивительно яснымъ лбомъ замѣчаетъ: «дальше этого смѣшеніе понятій идти не можетъ»...

Нѣтъ, я думаю, можетъ идти и дальше. Все зависитъ отъ прыткости и беззащитности, а эти качества очень быстро прогрессируютъ въ органѣ диалектическихъ материалистовъ. Въ октябрьской книжкѣ «Новаго Слова» г. Novus начинаетъ свою статью, озаглавленную «На разные темы», заявленіемъ, что онъ «давно не бесѣдовалъ съ читателями въ непринужденной формѣ». Давно ли г. Novus занимается «непринужденными» бесѣдами и долго ли онъ оставалъ безъ нихъ читателей «Новаго Слова», я, признаться, не справлялся, но что октябрьская его статья написана вполне непринужденно,—это вѣрно. Непринужденность этой бесѣды доходитъ до того, что авторъ находитъ возможнымъ говорить о моихъ «наблюденіяхъ на чернушскихъ и московскихъ трактирахъ». Откуда г. Novus знаетъ мои наблюденія объ этихъ моихъ наблюденіяхъ, я не знаю (въ своей книгѣ г. Novus удостоилъ своимъ вниманіемъ, — о «наблюденіяхъ» г. Тугана, — и сослался на литературные источники),

маленький очерк замѣчательное литературное явленіе». Эта форма декрета такъ удобна, что и я могъ бы окончить подобнымъ же «ceterum censeo» противоположнаго содержания; тѣмъ болѣе, что «непринужденность» г. Novus'a, его неспособность понять мотивы дѣйствій противниковъ, его комическая уверенность въ своей силѣ, — все это не такія черты, которыя располагали бы къ бесѣдѣ съ нимъ. Но мы встали хотѣли остановиться еще на двухъ-трехъ мѣстахъ его непринужденной статьи.

Разсказъ г. Чехова, какъ, вѣроятно, помянуть читателя, обанчивается тѣмъ, что вдова и дочь полового Чикильдѣева просятъ милостыни подъ окнами деревенскихъ пѣбъ: «Подайте милостыню, Христа ради». Въ связи съ этимъ концомъ я обратился къ «комментаторамъ» (а не исключительно къ г. Novus'у, какъ онъ думаетъ) съ такими словами: «Господа, подайте милостыню своего вниманія подлинной вдовѣ и сиротѣ подлиннаго рабочаго человека, гдѣ бы онъ ни работалъ, въ деревнѣ ли, въ городѣ ли, и не сшибайте лбами двухъ разрядовъ людей, жизнь которыхъ, въ разныхъ родахъ, но одинаково темна и скудна, одинаково требуетъ и одинаково заслуживаетъ участія». Отъ этихъ моихъ словъ г. Novus'a даже «нѣсколько покорило», и оно раздражается длинной тирадой, въ которой можно усмотрѣть двѣ стороны. Во первыхъ, его возмущаетъ «призывъ къ литературной филантропіи» («милостыня вниманія») причѣмъ онъ щеголяетъ своимъ презрѣніемъ къ филантропіи вообще. цитируетъ Прудона и т. д. Если читатель сопоставитъ эту тираду съ напечатанной въ той же книжкѣ «Новаго Слова» статьей г. М. Б. «Памяти Н. А. Варгунина» и заключительными строками статьи г. П. В. «Текущіе вопросы внутренней жизни», то убѣдится, что діалектическіе матеріалисты очень боятся слова «филантропія», но о самой филантропіи имѣютъ довольно смутныя понятія. Мнѣ здѣсь нѣтъ повода объ этомъ распространяться, такъ какъ и на къ какой филантропіи не приглашалъ, и моя «милостыня вниманія» есть такая же метафора, какъ и, на примѣръ, засвидѣтельствовавшее г. Novus'омъ сидѣніе на цѣпи сотрудниковъ «Новаго Слова». Выше я воспользовался этой последней метафорой, какъ метафорой, и это мое право, но я обнаружилъ бы крайнюю наивность, еслибы; слѣдуя примѣру г. Novus'a, разразился по этому поводу патетическою рѣчью въ такомъ родѣ: «Сообщеніе почтеннаго сотрудника «Новаго Слова» повергло насъ въ ужасъ. Какі! накануне XX вѣка держать людей на цѣпи, когда еще въ прошломъ столѣтіи многіе филантропы возставали противъ такого варварства по отношенію даже къ страдающимъ умственнымъ разстройствомъ, но и тогда безопасныя для общества формы этихъ недуговъ, въ родѣ, на примѣръ, маніи величія, не вызвали столь жестокихъ мѣръ» и т. д. Проговоривъ такую рѣчь, я могъ бы, подобно г. Novus'у, самодовольно оглядывать слушателей: какой, дескать, я уминый и какой передовой!.. Сразу все поняли!..

«Разъяснять общественный смысл того, что происходит в действительной жизни, и того, что из этой действительной жизни отражается в литературу, это наши, как говорят немцы, *verdammte (?) Schuld und Pflichtigkeit*. На то мы и состоим в литературном цехе. Пусть г. Михайловский думает, что это значит «сшибать лбами два разряда людей», но мы полагаем, что ничего такого литература не в состоянии делать; сшибает лбами только жизнь, и на наше горе в данном случае жизнь производит это полезное дело с неприятною для нас медленностью. Итак, наша задача и обязанность разъяснять общественный смысл явлений жизни и литературы, а раздачу «милостивых вниманий» мы предоставляем г. Михайловскому и его единомышленникам. Филантропия — душевспасительное дело, но ни в жизни, ни в литературе мы не считаем ее общественной задачей». И т. д. в пику «филантропам», не менее презренным, чем «народники и субъективисты», но и не более их ясным для самого критика. Во всяком случае, мое: «подайте милостивую внимания» есть метафора, вызванная последними строками рассказа г. Чехова и имеющая целью привлечь внимание читателей и критиков к тем сторонам этого литературного явления, которые упущены комментаторами из вида. Я именно приглашал внимательно отнестись к смыслу рассказа и соответствующих явлений жизни. Правда, я не только «разъяснял», не только констатировал факты и обращался к логической способности читателя, а выражал свои чувства. Не думаю, однако, чтобы это выходило из предельных прав и обязанностей «литературного цеха», ибо в таком случае пришлось бы исключить из литературного цеха много великих имен. И даже г.г. диалектические материалисты, «гордые своим неумолимым объективизмом», не только «разъясняют», а и волнуются горем и радостью, каковыя волнения стараются и читателям внушить. Вот и г. Novus сообщает нам о своем «горе» по тому поводу, что жизнь сшибает людей лбами «с неприятною для него медленностью». Последовательный «неумолимый объективист», если бы таковой был возможен, сказал бы: приятно вам или нет, горюете ли вы или радуетесь, а медленность известного процесса столь же неизбежна, как и самый процесс: «разъясняйте» эту медленность, а горя свои и неприятности оставьте при себе, ибо это не больше, как «милостивая внимания». И, однако, г. Novus горюет и жалуется на неприятности. А г. С. Б. в предыдущей, сентябрьской книжке «Нового Слова» идет еще дальше. Он говорит: «Одно дело признавать историческую неизбежность данного процесса или данного результата (в данном случае образования земледельческой буржуазии) и другое дело становиться в известное активное отношение к этому процессу. Насколько вообще возможно такое активное отношение, мы, конечно,

становимся не на сторону экспроприрующих, а экспроприруемых» («Еще несколько словъ по поводу неурожая»).

Я считаю это заявление не менѣе въ своемъ родѣ важнымъ. Это разъясненіе г. Каченскаго относительно теоріи «преобладанія экономическаго фактора». Не дальше, какъ годъ тому назадъ г. Туганъ-Барановскій, конечно, тоже горячи своимъ неумолимымъ объективизмомъ (кто имъ ничѣмъ не гордится!) издѣвался надо мной въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Статьи г. Михайловскаго не помѣшали нашему капитализму подчинить себѣ самостоятельнаго производителя, интересы котораго такъ горячо, хотя и такъ неудачно, пытается защищать г. Михайловскій. Причина этой неудачи заключается въ томъ, что мой оппонентъ, забывая объ экономическихъ законахъ, воображалъ, будто жизнь всецѣло направляется идеалами «критически мыслящихъ личностей», тогда какъ эти идеалы влияют на жизнь только въ томъ случаѣ, если они соответствуютъ экономическимъ условіямъ даннаго историческаго момента и не вступаютъ въ конфликтъ съ направлениемъ экономическаго развитія» («Миръ Божій» апрѣль 1896 г., стр. 284). Сосредоточивъ все выше-сказанное, я могъ бы, съ подобающею мнѣ скромностію, отвѣтить г. Тугану-Барановскому такъ: многоуважаемый діалектическій матеріалистъ, вы находитесь во власти заблужденія: я никогда не «воображалъ, будто жизнь всецѣло направляется идеалами критически мыслящихъ личностей». Это ваше сочиненіе, столь же талантливое, какъ и все, что выходитъ изъ подъ вашего пера. Но если вы попадете милостивому вниманію моимъ собственнымъ сочиненіямъ, то найдете въ нихъ, можетъ быть, то самое, что нашелъ г. Филипповъ: нѣчто такое, «больше чего не могли бы потребовать даже экономическіе матеріалисты». Что же касается вашего торжества по тому поводу, что мои статьи «не помѣшали нашему капитализму» и проч., ибо находились «въ конфликтѣ», то я долженъ признаться, что онѣ не помѣшали и многому другому. Радуюсь за васъ, незнакомаго съ горькимъ сознаніемъ конфликта, радуюсь отсутствію разлада между вашими идеалами и дѣйствительностью. Позволю себѣ, однако, сослаться на слова вашего товарища, г. С. Б.: неизбежность известнаго процесса, даже если она вполне доказана, не обязываетъ насъ ему содѣйствовать; напротивъ, насколько возможно, мы съ г. С. Б. будемъ ему противодействовать. ибо «мы, конечно, становимся не на сторону экспроприрующихъ, а экспроприруемыхъ», то есть будемъ дѣлать то самое дѣло, которое вамъ кажется столь презрительнымъ...

✓

Въ Москвѣ празднуется тридцатилѣтній юбилей литературной дѣятельности Н. Н. Златовратскаго. Тридцать лѣтъ не малый срокъ въ жизни каждаго человека и, можетъ быть, въ особенности писателя. Есть свои радости въ жизни писателя, но въ общемъ тер-

Не хочу я также возбуждать въ читателѣ жалость къ представителямъ русской литературы. Много скорбнаго, обиднаго и прямо даже жалкаго въ ихъ положеніи, но въ настоящую минуту мы чувствуемъ тридцатилѣтнюю дѣятельность одного изъ нихъ, и самый фактъ этого торжественнаго чествованія долженъ влить противоядіе въ тотъ «ядъ», которымъ литература «наполнила его сердце». Нынѣ часто можно слышать мнѣніе, что писатель г. Златовратскаго сѣба, не только въ смыслѣ сокращенія, за последнее время, его литературной дѣятельности, которое можетъ быть объяснено частыми личными причинами (усталостью, болѣзнью), а и въ смыслѣ окончательнаго паденія того міросозерцанія, которому г. Златовратскій оставался вѣренъ всю свою многотрудную жизнь. Пусть такъ (я возвращусь къ этой темѣ ниже), но г. Златовратскій, во всякомъ случаѣ, зналъ счастье вольнаго союза съ «читателемъ-другомъ», счастье общенія съ внимательной и многочисленной аудиторіей. И разъ онъ удовлетворялъ запросамъ, конечно, не худшей части нашего общества, разъ онъ давалъ въ теченіе многихъ лѣтъ пищу ея уму и сердцу,—онъ займетъ въ исторіи литературы навѣрное почетное мѣсто. Скажу прямо: міросозерцаніе г. Златовратскаго недостаточно широко для того, чтобы объять жизнь въ ея многосторонности, но это не кладетъ ни малѣйшей тѣни на писателя, какъ писателя. Г. Златовратскій всю жизнь честно служить истинѣ, какъ онъ ее понимаетъ, онъ «дѣлалъ своихъ цѣною злата не взвѣшивалъ, не продавалъ, не ухищрялся противъ брата и на врага не клеветалъ». И самое его упорство въ одностороннемъ освѣщеніи жизни имѣетъ свои достойныя уваженія стороны: искренность и мужество.

Если тридцать лѣтъ въ жизни отдѣльнаго человѣка — срокъ очень большой, то въ жизни общества это одно мгновеніе. Такъ обыкновенно говорятъ, да, да, пожалуй, такъ и есть, если смотрѣть на исторію, такъ сказать, съ высоты птичьяго полета. Но какъ въ жизни отдѣльнаго человѣка не всѣ мгновенія равны между собой, такъ и историческія мгновенія бываютъ особенно многозначительныя. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что послѣднія пережитыя нами тридцать лѣтъ принадлежатъ къ числу именно такихъ, особенно многозначительныхъ историческихъ мгновеній. Эти тридцать лѣтъ стоятъ цѣлаго вѣка, и хотя во многихъ отношеніяхъ мы нынѣ находимся совсѣмъ не такъ далеко отъ исходной точки, какъ можетъ показаться, хотя жизнь взяла многое назадъ изъ того, что дала или, по крайней мѣрѣ, обѣщала, но въ общемъ пройденъ всетаки большой путь. До такой степени большой, что мы часто забываемъ исходныя точки или даже просто не знаемъ ихъ.

Мы празднуемъ тридцатилѣтіе литературной дѣятельности г. Златовратскаго, потому что въ 1866 г. былъ напечатанъ въ «Искрѣ» его первый рассказъ «Надежда скота». Но собственно какъ вполне опредѣленная литературная фізіономія, г. Златовратскій гораздо

дѣлаки вымучить» (Цитирую по только что вышедшему третьему изданію сочиненій Златовратскаго, II, 324—325).

Кромѣ очень ярко выраженнаго отрицательнаго отношенія къ мистической самообычности, мы видимъ въ этой книгѣ еще одну любопытную черту. Каковы бы ни были выводы г. Златовратскаго изъ его деревенскихъ наблюденій, но наблюдатель онъ замѣчательно добросовѣстный. И когда съ нимъ говорить, какъ объ идеализаторѣ деревни, то упускаютъ обыкновенно изъ виду, что его идеализация отнюдь не побуждаетъ его закрывать глаза на отрицательныя съ его точки зрѣнія явленія деревенской жизни. Нынешніе развязные писатели, отказывающіеся отъ наследства, приписываютъ себѣ открытіе процесса дифференцированія, происходящаго въ современной деревнѣ. Но и изъ нихъ болѣе свѣдущіе принуждены указывать на произведенія г. Златовратскаго, въ которыхъ двадцать лѣтъ тому назадъ этотъ процессъ былъ изображенъ съ неоставляющею мѣста сомнѣній яркостью. Основанная точка зрѣнія г. Златовратскаго состоитъ въ томъ, что деревня переживаетъ кризисъ, эпоху борьбы старыхъ и новыхъ началъ, причемъ, хотя симпатіи его явно лежатъ на сторонѣ старыхъ (общинныхъ) началъ, онъ съ полнымъ безпристрастіемъ слѣдитъ за перипетіями борьбы, не предвѣщая ей исхода.

Перечитывая сочиненія г. Златовратскаго, и именно рассказъ «Городъ рабочихъ» (1888 г., т. I, 246—264), я невольно вспомнилъ вышеупомянутаго переводчика рѣчи Гельда, г. Спаскаго. Онъ навѣрное считаетъ себя «объективистомъ» и сънисходительнымъ презрѣніемъ смотритъ на г. Златовратскаго, какъ на «романтика» и «утописта». Это не помѣшало ему, однако, прямо подѣлать Гельда. Прочтите же рассказъ романтика и утописта «Городъ рабочихъ», написанный на ту же тему—«ремесло и фабрика», и воздайте должное мужественной искренности и фактической правдивости автора. Правда, г. Златовратскій придаетъ часто тѣмъ или другимъ наблюденнымъ имъ фактамъ преувеличенное значеніе (см., напримѣръ, перечисленіе видовъ «общинной помощи» на стр. 341 и слѣд. второго тома), но онъ ничего не скрываетъ: факты остаются фактами, и читатель воленъ согласиться или не согласиться съ авторомъ въ ихъ оцѣнкѣ. Онъ не только апологетъ общинныхъ «устоевъ», но и правдивый утопистъ ихъ разложенія. Поэтому, совершенно независимо отъ его принципиальной точки зрѣнія, вся фактическая часть его писаній заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія и глубокой благодарности всѣхъ интересующихся народною жизнью. Въ особенности въ этомъ отношеніи цѣнны очерки «Деревенскія будни», представляющіе прямо записки или дневникъ наблюдателя безъ всякихъ художественныхъ замысловъ.

Какъ художникъ, г. Златовратскій не нуждается въ похвалахъ. Его талантъ общепризнанъ, и такіа произведенія, какъ «Крестьяне—

присяжные», «Въ артеле», а также многіе изъ позднѣйшихъ разсказовъ всегда останутся въ числѣ украшеній русской литературы хотя и не первостепенныхъ. Нельзя, къ сожалѣнію, то же сказать о самомъ большемъ его беллетристическомъ произведеніи, «Устояхъ», представляющихъ отчасти художественную обработку того же матеріала, который въ иной формѣ использованъ въ «Деревенскихъ будняхъ». Въ «Деревенскихъ будняхъ» г. Златовратскій неоднократно говоритъ о неудовлетворительности всѣхъ ранѣе произведенныхъ наблюденій и изслѣдованій народной жизни. Онъ не дѣлаетъ исключеній ни для свѣдѣній, полученныхъ черезъ «свѣдущихъ людей», ни для личныхъ наблюденій и ихъ научной и беллетристической обработки, ни для «либеральныхъ и нелиберальныхъ», искреннихъ и лицемерныхъ «друзей народа», ни для сторонниковъ и противниковъ общины. Все это, по его мнѣнію, недостаточно серьезно и слишкомъ поверхностно. Это уже нѣкоторый, хотя и не формулированный, намекъ на «отказъ отъ наслѣдства», дурно отозвавшійся прежде всего на самомъ г. Златовратскомъ. По нынѣшнему времени не лишнее будетъ замѣтить, что я отнюдь не проповѣдую культа предковъ, напротивъ, критическое отношеніе къ духовному наслѣдству необходимо, но нужно много разъ примѣрять прежде, чѣмъ отрѣзать себя отъ работы предшествующихъ поколѣній, ибо это, во всякомъ случаѣ, просто невыгодно, не говоря уже о несправедливости.

Между прочимъ г. Златовратскій говоритъ: «Сами художники, вышедшіе изъ интеллигенціи и берущіеся за сюжеты изъ народной жизни, должны, во имя добросовѣстности, измѣнить методы своихъ отношеній къ деревнѣ, основывая ихъ до сего времени *только на непосредственныхъ впечатлѣніяхъ*: они должны заняться такой же предварительной солидной подготовкой, какую имѣютъ солидные этнографы и историки народной жизни. Иначе, повторяю, будетъ какъ было до сихъ поръ,—кое какіе тыники, сцены семейной жизни, построенныя на общихъ банальныхъ основахъ любви, ревности и проч. Но общаго смысла народной жизни, духа ея, который проходилъ бы черезъ всѣ типы, той неизгладимой идеи, которая пронизываетъ каждый непосредственный индивидуумъ народной массы, отъ нихъ не ждите» (II, 297).

«Солидная подготовка», безъ сомнѣнія, всегда и во всякомъ дѣлѣ полезна, но что подъ нею разумѣть въ данномъ случаѣ г. Златовратскій—несовсѣмъ ясно. Охотно вѣрю, что самъ онъ, приступая къ своимъ деревенскимъ наблюденіямъ, обладалъ подготовкой «солиднаго этнографа и историка народной жизни», но явныхъ слѣдовъ этой спеціальной подготовки въ его трудахъ не видно (двухъ, трехъ мимоходныхъ указаній въ такомъ родѣ, что община существовала не только у насъ, и т. п., конечно, недостаточно); они построены именно *только* на «непосредственныхъ впечатлѣніяхъ». Правда, презрительно относясь къ послѣднимъ, г. Зла-

товратский разумит, может быть, первым не продуманным и не проверенным впечатлением, и в таком случае он, конечно, прав; прав в своем отрицании, прав и в том отношении, что сам он наблюдал внимательно и относился к своим наблюдениям вдумчиво. Но он был не один и не первый на этом поприще. У нас бесспорно было много грубых и поверхностных картин из народной жизни (радующихся обличию «деревенского идиотизма» в «Мужиках» г. Чехова можно вспомнить, например, Николая Успенского), но, с другой стороны, достаточно указать на трепещущую жизнью и вместе с тем пронизанную серьезною мыслью картины и образы Гл. Успенского. Не так, значить, «было до сих пор», как это кажется г. Златовратскому. И в своем стремлении сказать непременно новое слово, он впал в ошибку, значительно повредившую художественной стороне многих его произведений, и в особенности «Устоев». Требуя от других уловения «общаго смысла народной жизни, духа ея, который проходил бы через все ея типы, той неизгладимой идеи, которая проникает каждый непосредственный индивидуум народной массы», г. Златовратский в действительности сам не нашел этого единого «духа», этой «идеи». Как добросовестный наблюдатель, он и констатировал борьбу двух «духов» или «идей», — общинного и личного. Ему он занял и в «Устоях». Но в силу презрительнаго отношения к «кое какимъ единичнымъ типикамъ, сценамъ семейной жизни, построенныхъ на общихъ банальныхъ основахъ любви, ревности и пр.», — он далъ в «Устояхъ» рядъ не столько живыхъ лицъ и подлинныхъ положений, сколько схематическихъ фигуръ, долженствующихъ воплощать различные отбѣтки двухъ борющихся «духовъ». Поэтому, не смотря на интересный замыселъ «Устоевъ», въ этомъ обширѣйшемъ изъ произведений г. Златовратскаго столько анти-художественно подчеркнутаго, столько рѣжущаго мало-мальски чуткое ухо излишнею ясностью намѣреній автора, столько сухой схематичности, что его даже читать трудно. Эта трудность еще увеличивается страннымъ художественнымъ капризомъ автора: нѣкоторыя страницы «Устоевъ» написаны полустихотворнымъ размахомъ, который невольно скандируется при чтеніи.

Въ «Деревенскихъ будняхъ» огуломъ осуждаются все бывшіе наблюдатели и исследователи народной жизни. Въ «Устояхъ» наблюдатели и исследователи сводятся лицомъ къ лицу съ народомъ, но уже не въ качествѣ только наблюдателей и исследователей: это люди искренно или же на словахъ ищущіе сближенія съ народомъ, очарованные великой правдой, хранящейся въ тайникахъ народной жизни, или же разочарованные въ ней. Впрочемъ, тема эта съ болѣею сосредоточенностью разрабатывается въ нѣкоторыхъ другихъ разсказахъ, въ особенности въ «Золотыхъ сердцахъ». Но на этотъ разъ для проникновенія въ народную жизнь требуется уже

не солидная подготовка этнографа и историка, а нечто совѣстное, а именно, кажется, «вѣра сердца», какъ выражается одна изъ героинь «Золотыхъ сердецъ», прибавляя, впрочемъ: «это несовѣстно, но еще нѣтъ названія, такъ какъ все это пока очень неопредѣленно». «Вѣра сердца» и еще нѣчто, что мы сейчасъ увидимъ.

Въ глубинѣ народнаго духа, на самомъ днѣ, лежитъ вѣками сохранныя великая «правда жизни». Но надъ ней ходятъ волны. Извнѣ притекающія и не только все прибывающія, но постепенно растворяющія и нижніе, глубокіе слои. Разные истомленные пустотой своей жизни, разочарованные и неудовлетворенные интеллигентные люди знаютъ, чуютъ или, по крайней мѣрѣ, слышатъ о народной правдѣ. Но, во первыхъ, между ними самими много людей поверхностныхъ, неискреннихъ, несерьезныхъ, увлеченныхъ просто моднымъ теченіемъ «народолюбія» (мы говоримъ о прошедшемъ времени, читатель!), довольствующихся фразой, неспособныхъ вынести блеска народной правды и преч., и проч. А съ другой стороны, до этой правды нельзя добраться иначе, какъ столкнувшись предварительно съ наносными, извнѣ притекшими волнами, въ которыхъ правды уже нѣтъ или же она имѣется лишь въ слабомъ растворѣ. Таковы рамки, въ которыя вставляется г. Златовратскій свои картины попытокъ сближенія съ народомъ, оканчивающіяся обыкновенно неудачей. Рамки, на первый взглядъ, очень удобныя для автора, какъ правдиваго бытописателя. Въ самомъ дѣлѣ, ему незачѣмъ идеализировать ищущихъ сближенія съ народомъ,—мало ли тамъ пустыхъ и слабыхъ людей; незачѣмъ идеализировать и народную среду,—заранѣе извѣстно, что надъ тайной народнаго сокровища ходятъ извнѣ притекшія мутныя волны, въ которыхъ опять мало ли какая дрянь можетъ содержаться. Но самое выгодное въ этихъ рамкахъ, кажется, то, что по той или по другой причинѣ, или по совокупности ихъ, до сокровища такъ никто и не добирается. Не смотря, однако, на эту выгодную позицію, интеллигентные люди «Устоевъ» и «Золотыхъ сердецъ», вообще говоря, опять таки не столько живые люди, сколько схематическія фигуры, вслѣдствіе чего добросовѣстный наблюдатель оказывается недостаточно правдивымъ художникомъ.

Остановимся на одномъ изъ дѣйствующихъ лицъ «Золотыхъ сердецъ», на томъ именно, котораго вышеупомянутая героиня считаетъ «воплощеніемъ вѣры сердца». Это нѣкто Башкировъ. Желая индивидуализировать этотъ образъ, оживить его, авторъ придалъ ему много, слишкомъ много оригинальныхъ до странности чертъ. Это совсѣмъ особенный человекъ уже по происхожденію своему,—онъ плодъ увлеченія юной помѣщицей дочери дикимъ башкиромъ, атаманомъ разбойничьей шайки. Наружности онъ замѣчательно уродливой. Весь складъ его жизни, всѣ привычки, манеры—какія то неуразумныя. Окончивъ курсъ на медицинскомъ факультетѣ мо-

сковського університета (всѣ вѣтъ лѣтъ проработав) онъ, одинокимъ, говорить страннымъ, не то що изроднимъ, а базиль-то суфран-роднымъ языкомъ въ такомъ рѣдѣ: «Ничаво, я теперь не уйдѣю и самъ изусталъ». Но сердце у него доброе, прямо сказать, золотое сердце, и всѣ приданная ему авторомъ объяснительныя вѣсти еще болѣе стѣсняють его схематичность: воть человѣкъ, который, казалось бы, ничѣмъ не взялъ, ничего у него, кромѣ золотого сердца, нѣтъ. Есть, впрочемъ, и еще нѣчто—медицинскія знанія. Онъ охотно водится съ крестьянами и городскими простыми людьми и пользуется, въ свою очередь, ихъ расположеніемъ, но, поведѣнню, не столько въ качествѣ врача, сколько въ качествѣ золотого сердца. Началось это еще во времена студенчества, въ средѣ которыхъ Башкировъ тоже пользовался всеобщимъ уваженіемъ. Такъ былъ онъ уже тогда слытъ знатокомъ народа, то кое-кто изъ товарищей пожелалъ имъ воспользоваться для нѣкоторыхъ особыхъ цѣлей. Произошелъ слѣдующій разговоръ:

— Скажи, Башкировъ, ты вѣдь хорошо знаешь простой народъ?

— Чаво я знаю? Знаю Петра да Сидора. Вотъ чаво я знаю!

— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучилъ же ты? Вотъ они съ тобой сходятся, доверяють тебѣ. Ты, значить, знаешь, чѣмъ можно тобить ихъ доверенности, чѣмъ разрушить ту стѣну недовѣрія, которая существуетъ между нами и ими?

— Знаю,—протянулъ Башкировъ, хитро улыбувшись.

— Въ чемъ же, въ чемъ штука?—вскрикнулъ обрадованнѣйшій вопроситель.

— Нѣтъ, ничего... лѣгко!

— Легко?

— Не сумявайся... лѣгко.

— Ну такъ въ чемъ же штука-то?

— Штука-то?... Быть несчастнымъ!

Пріятель отчего-то переконфузился, а Башкировъ сталъ хладнокровно переобувать сапоги и молчалъ.

Однако и этотъ человѣкъ, и это «воплощеніе вѣры сердца», не смотря на свое знаніе ключа къ народній душѣ, не нашелъ сокровища. Объ этомъ можно судить по слѣдующему. Авторъ дважды «сводитъ Башкирова, въ числѣ прочихъ «простыхъ людей», съ разными то странниками, къ которымъ Башкировъ относится съ необыкновеннымъ почтеніемъ; но оба странника оказываются никакого почтенія не заслуживающими плутами.

Между прочимъ, одинъ изъ этихъ плутовъ говорить «объ отшельни, о пустыни». Подчеркнутое слово часто срывается съ устъ самыхъ разнообразныхъ дѣйствующихъ лицъ «Золотыхъ сердецъ» (а стчаси и «Устоевъ»). Такъ не лишенный практичности, юркій мужикъ Кузя «бросаетъ мимоходомъ афоризмъ собственной философіи въ родѣ того, что «ежели по настоящему времени суда, то самое лучшее—стрѣшиться, потому вездѣ единственно какъ мамонъ и болѣе ничего» (III, 45). Но и начетчицы Павла и Савлестоя, хазайствовавшія, какъ заправскіе мужики, и принимавшія участіе во

всѣхъ мірскихъ дѣлахъ, рѣшаютъ: «все одать на міръ и отрѣшиться... будетъ ужъ, пожили для міру». И когда ихъ спрашиваютъ, куда же они пойдутъ, одна изъ нихъ отвѣчаетъ: «Нигдѣ путь не заказанъ тому, кто отрѣшился... Въ томъ-то, милушка, и сила, что умѣй отъ куска, отъ жилища, отъ живота отрѣшиться, и будетъ вѣра твоя велика... Разучился человѣкъ отрѣшаться» (ib. 53, 54). «Такъ ты, значить, рѣшилъ отойти, *отрѣшиться*,—спросилъ какъ-то особенно загадочно и задумчиво Морозовъ (помѣщикъ).—Рѣшилъ Петръ Петровичъ, отрѣшиться рѣшилъ»,—отвѣчаетъ «умный мужикъ» (63). Про майорскую дочь, Катерину Егоровну, говорятъ: «Она, братъ, тоже сумѣетъ утѣчь, отрѣшиться... А въ этомъ—свѣтъ, свѣтъ!» (73).

Столь настойчиво влагая слово «отрѣшиться» въ уста людей очень разнообразныхъ положеній, авторъ, очевидно, желаетъ особенно подчеркнуть его значеніе. Въ тѣсной связи съ этимъ находятся и выраженія «вѣра сердца», «золотыя сердца» и неоднократно противопоставленіе разными дѣйствующими лицами «ума» и «сердца». И здѣсь мы опять встречаемся съ отказомъ отъ наслѣдства 60-хъ годовъ, который, впрочемъ, лично г. Златовратскимъ никогда не былъ заявленъ.

Желаніе «отрѣшиться» сопровождается у дѣйствующихъ лицъ г. Златовратскаго сознаніемъ грѣха и жаждою его искупленія или, по крайней мѣрѣ, покаянія. Это несомнѣнно одинъ изъ элементовъ міросозерцанія 60-хъ годовъ. Когда «порвалась пѣль великая» и даже еще въ преддверіи къ этому историческому событію, въ моментъ крымской войны, обнаружившей многообразныя изъяны нашего общественнаго строя, значительная и притомъ лучшая часть русскаго общества была охвачена сознаніемъ грѣха и жаждою покаянія. Дѣло шло не только о коренномъ историческомъ грѣхѣ, который назывался крѣпостнымъ правомъ, а и обо всѣхъ многочисленныхъ отъ него производныхъ. Страстныя обличенія какъ обличій нашихъ, доживавшихъ свой вѣкъ порядковъ, такъ и отдѣльныхъ случаевъ насилія, неправосудія, грубости, невѣжества, словомъ всего, чѣмъ была такъ богата дореформенная Русь,—составляютъ самую яркую черту эпохи 60-хъ годовъ. Это какъ бы сама Россія каялась. Но и отдѣльныя личности, въ виду наплыва новыхъ идей и созиданія новаго порядка вещей, покаянно пересматривали свое прошлое и настоящее, «отрѣшаясь» отъ тѣхъ или другихъ привычекъ, того или другого образа жизни или общественнаго положенія. Гл. Успенскій очень тонко изобразилъ этотъ процессъ, окрестивъ его именемъ «болѣзни совѣсти». Замѣчательно однако, что Успенскій употребляетъ и другое, болѣе широкое названіе: «болѣзнь мысли». И, какъ я старался показать въ предисловіи къ сочиненіямъ Успенскаго, новая мысль вызвала работу не только уязвленной совѣсти, а и оскорбленной чести, рѣчь шла не объ обязанностяхъ только, но и о правахъ. Затѣмъ, тогдашняя мысль

отличалась большою (быть может, иногда даже чрезмерною) самоуверенностью и нискоимъ образомъ не согласилась бы уступить долю «своей компетенціи «вѣрѣ сердца», но и не допускала противопоставленія «ума» и «сердца» какъ элементовъ, другъ другу по существу враждебныхъ. Точно также не согласилась бы она погнаться въ угоду чьимъ бы то ни было мнѣніямъ, въ томъ числѣ и мнѣніямъ народа, хотя интересы трудящихся классовъ занимали въ міросозерцаніи 60-хъ годовъ первенствующее мѣсто. Изученіе народнаго быта требовалось настоятельно, но «быть нещастнымъ» отнюдь не считалось хорошимъ для этого средствомъ. Если люди того времени и «отрѣшались», если они даже своего рода верига надѣвали и тяжкія эпитеты на себя налагали, то, во первыхъ, не видѣли въ этомъ «нещастія», а во вторыхъ, не потому, чтобы считали себя пустыми сосудами, которые должны наполняться живою водою народной правды. Напротивъ, они сами разсчитывали внести лучъ свѣта въ народную массу и пробудить ея дремлющее сознаніе.

Было бы долго и во многихъ отношеніяхъ неудобно припоминать тѣ преувеличенныя надежды на народную восприимчивость и тѣ разочарованія, которыя затѣмъ послѣдовали. Во всякомъ случаѣ, какъ бы ни были неудачны нѣкоторыя страницы «Устоевъ» и «Золотыхъ сердецъ» г. Златовратскій старался уловить (и укрѣпить и обосновать) извѣстное подлинное теченіе, въ лицѣ другихъ писателей открыто разорвавшее связь съ идеями 60-хъ годовъ. Повторяю, я отнюдь не считаю это наслѣіе чѣмъ-то непризнаннымъ, напротивъ, оно подлежитъ приращенію, обогащенію, какъ данными научнаго движенія, такъ и данными житейскаго опыта, для чего оно обладаетъ достаточною широтою и гибкостью; но отказываться отъ него невыгодно, какъ это, между прочимъ, видно и изъ судьбы многихъ дѣйствующихъ лицъ произведеній г. Златовратскаго. «Будетъ ужъ, пожили для міру», — говорятъ бабы начеичпы, ~~желая~~ ^{желая} «отрѣшиться» и удалиться, собственно говоря, неизвѣстно куда, но, во всякомъ случаѣ, куда-то изъ міра, въ какую-то «пустыню». Въ простомъ народѣ это, какъ насъ учитъ исторія, нерѣдкое явленіе, но едва ли г. Златовратскій постигъ правильно, приурочивъ его къ тому историческому моменту, которымъ онъ занятъ въ «Устояхъ» и «Золотыхъ сердцахъ», и поставивъ его въ неясную связь съ «отрѣшеніемъ» такъ называемыхъ интеллигентныхъ людей. Во всѣ тяжкія для народа времена изъ его среды выдѣлялись подвижники, удалявшіеся отъ грѣховнаго міра и спасавшіе душу въ удаленіи отъ мірскихъ дѣлъ. Они и находили въ этомъ успокоеніе своей смущенной совѣсти. «Отрѣшеніе» интеллигентныхъ героевъ г. Златовратскаго имѣетъ совсѣмъ другой характеръ. Это — отрѣшеніе не только «отъ куска, отъ жилища, отъ живота», а и цѣликомъ отъ всего преемственно накопленнаго багажа, и жертва эта оказывается безполезною: все равно никто не

добирается до великой народной правды, гдѣ-то глубоко на днѣ сокрытой. Припоминайте хоть конецъ «Устоевъ». Отрѣшившаяся Лиза Дрекалова пишетъ своему учителю Пугаеву: «Яня все навѣщаетъ меня. Вчера мы долго говорили. И отчего это такъ легко говорить съ янью? А вѣдь онъ такой же мужикъ, какъ и всѣ. Онъ только... Все еще не могу опредѣлить однимъ словомъ: кто онъ? Нѣтъ, это не сынъ «земли», не «ратникъ труда», не подвижникъ «ума»... Онъ даже не все это вмѣстѣ,—онъ выше всего этого. Онъ паритъ надъ этимъ, беззавѣтный романтикъ! Мнѣ кажется, что исчезни изъ народа *это*, что такъ цѣлостно воплотилось въ Янѣ и отцѣ его Мивѣ, бессильна будетъ оживить его и «земля», ибо власть ея обратится тогда въ страшную, могильную власть животного, хотя бы и мернаго, прозябанія, и власть «міра», община, ибо эта власть ея станетъ условною, мертвою формою, деспотически принижающей неосвоенную духомъ «порыва» личность; власть труда сдѣлается страшною властью машины, и наконецъ, самая власть «ума», власть интеллигенціи, превратится въ сухое, вялое доктринерство или умственный деспотизмъ... И только одно *это*... А что такое *это* — я не знаю, дорогой Пугаевъ, не знаю до сихъ поръ, но я вѣрю въ *это*, мѣло того, я чувствую его... всѣмъ существомъ своимъ. Значитъ, *оно* реально... Что изъ того, что я теперь не могу опредѣлить *это*? Это даже лучше: значитъ, *она* такъ глубоко»...

Deo ignoto—такова надпись на храмѣ божества г. Златовратскаго. Иногда ему кажется, что онъ, не въ примѣръ другимъ, разгадалъ великую истину, но большею частью онъ приноситъ лишь жертвы на алтарѣ этого невѣдомаго божества... Быть можетъ, разгадка проще, чѣмъ онъ думаетъ, быть можетъ, нѣтъ надобности «отрѣшаться» въ такой степени и въ такой формѣ, какъ его герои, но несомнѣнно, что онъ оказалъ русскому обществу большую услугу, въ теченіе многихъ лѣтъ привлекая его вниманіе къ деревенской жизни. При всемъ своемъ преклоненіи передъ никому невѣдомой тайной, онъ добросовѣстно изучалъ дѣйствительность. Но и помимо результатовъ, къ которымъ онъ пришелъ, нельзя не поставить ему въ заслугу самый фактъ многолѣтняго пристальнаго вниманія къ деревенской жизни. Нельзя не оцѣнить этого въ особенности теперь, когда можно услышать уже слишкомъ упрощенное рѣшеніе вопросовъ, занимавшихъ г. Златовратскаго въ теченіе всей его литературной дѣятельности: «идіотизмъ деревенской жизни»—и конецъ...

Простите, читатель; это я опять г. Novus'a вспомнилъ. Все въ той же вышеупомянутой непринужденной бесѣдѣ онъ, въ подтвержденіе своихъ мнѣній о «Мужикахъ» г. Чехова, вспоминаетъ, что Марксъ «не боялся и съ полнымъ правомъ не боялся писать съ «идіотизмъ деревенской жизни» и видѣлъ заслугу капитализма и буржуазіи въ разрушеніи этого идіотизма». Поэтому-то и онъ, г. Novus, считаетъ себя вправѣ говорить съ идіотизмъ «мужиковъ».

разрушаемом капитализмом и буржуазией через посредство «полеты-маршалы» трактирного пологого и омоченных слезами «фундаже» его добродетельной жены... Г. Новиз вообще любит повторять чужие слова, не осматриваясь съ условиями, при которых они были впервые сказаны. Так, въ мартовской непринужденной беседе читает: «Откровенно говоря, еслибы я върился въ факты успеха производительных силъ России подъ дѣйствіемъ процесса капиталистическаго развитія, то я бы или махнулъ на все рукой и сталъ бы жить въ свое удовольствіе, «пить вино и цѣловать красивыхъ женщинъ», или же... удавился бы». Вотъ какъ энергично! Надо, однако, замѣтить, что слова, поставлены въ кавычкахъ, принадлежатъ Лассалю. Охотно вѣрю, что «вино и цѣловать красивыя женщины» находятся всегда въ услугамъ г. Новиза, но все-таки повтореніе Лассалевскаго выраженія производить въ его устахъ нѣсколько комическій эффектъ... Нельзя того же сказать объ «идиотизмѣ деревенской жизни». Это уже не смѣшно. Я не знаю, гдѣ именно у Маркса написаны эти грубыя слова, но давно извѣстно, что если Александръ Македонскій былъ великій герой, то студеизъ все-таки дѣлать не слѣдуетъ. Марксъ былъ вообще неразборчивъ въ выраженіяхъ, и, конечно, подражать ему въ этомъ отношеніи, но малой мѣрѣ, не умно. Но и то и увѣрятъ, что приведенное выраженіе у Маркса простая бутата. И если поколѣніе, вышедшее съ г. Златовратскимъ мучившееся надъ сложными вопросами деревенской жизни, приняло много напраснаго горя, то горе—хотя и иное—я тому поколѣнію, которое воспитается на презрительномъ отношеніи къ «идиотизму деревенской жизни»...

Нин. Михайловскій.

Много ли мужику хлеба нужно?

Этотъ вопросъ до сихъ поръ не имѣетъ надлежащаго, достаточно убѣдительнаго для большинства отвѣта. А между тѣмъ и теоретическое и практическое его значеніе громадно. Съ нимъ приходится сталкиваться и ученымъ въ ихъ исследованияхъ экономическихъ и санитарныхъ условий народной жизни, и общественнымъ дѣятелямъ въ ихъ попеченіи о народномъ здоровьи и народномъ производствѣ.

Текущій годъ съ собою сильно подчеркнул и теоретическую, и практическую важность этой неразрѣшенной проблемы. Весной, въ оживленной полемикѣ о влияніи угрожающихъ и хлѣбныхъ дѣвъ на народное хозяйство, вопросъ о томъ, много ли мужику хлеба нужно, занималъ одно изъ центральныхъ мѣстъ. Осеню, въ началѣ та-